

КОНЕЦ ИСТОРИИ?

Наблюдая течение событий примерно на протяжении последнего десятилетия, трудно избежать впечатления, что в мировой истории произошло нечто очень фундаментальное. За прошедший год увидел свет поток статей, праздноующих окончание холодной войны и тот факт, что „мир”, по-видимому, уже устанавливается во многих регионах нашей планеты. В большинстве случаев этим рассуждениям недоставало общей концептуальной базы, в рамках которой можно было бы провести различия между действительно существенным в мировой истории и тем, что в ней проходяще или случайно, так что в итоге они страдали очевидной поверхностностью. Будь Горбачев изгнан из Кремля или провозгласил какой-нибудь новый аятолла в отдаленной среднеазиатской столице очередное тысячелетнее царство, те же самые комментаторы тут же ринулись бы объявлять пришествие новой эры конфронтации.

Однако же все эти люди не вполне ясно, но ощущают какой-то всеобщий процесс, какую-то универсальную тенденцию, которая придает единство и порядок многообразию газетных заголовков. XX век видел, как мир развитых стран проваливался в пароксизмы идеологического насилия, как либерализм сталкивался сперва с остатками абсолютизма, затем с большевизмом и фашизмом и, наконец, с модернизированным марксизмом, что грозило последним апокалипсисом ядерной войны.

Но наше столетие, начавшееся с верой в окончательный триумф западной либеральной демократии, сейчас, судя по всему, приближается к своей исходной точке — не к „концу идеологии” или конвергенции между капитализмом и социализмом, как предсказывали ранее, но к ничем не омраченной победе экономического и политического либерализма.

Этот триумф Запада, триумф западной идеи, проявляется прежде всего в полном истощении некогда жизнеспособных системных альтернатив западному либерализму. В течение последнего десятилетия произошли несомненные перемены в интеллектуальном климате двух крупнейших коммунистических держав мира, где стали развиваться значительные реформистские движения. Этот феномен, однако, выходит за рамки высокой политики, его можно проследить и в непреодолимом распространении потребительской культуры Запада в таких разнородных воплощениях как повсеместность крестьянских рынков и цветных телевизоров в Китае, открытие в прошлом году первых кооперативных ресторанов и магазинов одежды в Москве, мелодии Бетховена как музыкальный фон в японских универмагах, и любовь к рок-музыке в Праге, Рангуне и Тегеране.

Наблюдаемое ныне — это, возможно, не просто окончание холодной войны или завершение какого-то периода послевоенной истории, но конец истории как таковой; иначе говоря, это финальная точка идеологической эволюции человечества и универсализация либеральной демократии Запада как окончательной формы правительства в человеческом обществе. Это не значит, что теперь будет нечем заполнять ежегодно появляющиеся на страницах журнала “Foreign Affairs” разделы с резюме международных событий, поскольку пока что либерализм победил преимущественно в сфере идей, в сфере сознания, в мире же материальной реальности его победа еще далека от завершения. Но есть серьезные основания полагать, что именно этот идеал в конечном счете станет править и материальным миром. Чтобы понять, как все это происходит, нужно сперва рассмотреть некоторые теоретические проблемы, относящиеся к природе исторических изменений.

Идея конца истории отнюдь не оригинальна. Самым известным ее пропагандистом был Карл Маркс, веривший в целенаправленность вектора исторического развития, определяемого, с его точки зрения, взаимодействием различных материальных сил и приходящего к своему естественному концу вместе с наступлением коммунистической утопии, которой суждено окончательно разрешить все наиболее важные противоречия человеческого общества. Однако эта концепция истории как диалектического процесса, имеющего свое начало, середину и конец, была позаимствована Марксом у его великого немецкого предшественника Георга Вильгельма Фридриха Гегеля.

Хорошо это или плохо, но большая часть гегелевского историцизма уже успела войти в наш нынешний интеллектуальный багаж. Неотъемлемой частью современного понимания человека стала концепция, согласно которой человечество прогрессировало до своего теперешнего состояния через последовательность предшествующих этапов сознания, соответствовавших ряду конкретных форм социальной организации, таких как родоплеменное, рабовладельческое, теократическое и, наконец, феодально-демократическое общества. Гегель был первым философом, говорившим на языке новейших социальных наук, поскольку человек для него был не вместилищем более или менее неизменных „естественных” качеств, как думали до Гегеля теоретики естественного права, а продуктом специфической исторической и социальной среды. Господство человека над своей природной средой и ее переделка с помощью научных и технических знаний была исходно не марксистской, а гегельянской идеей. Гегель, в отличие от других сторонников философского историцизма, исторический релятивизм, которых вырождались до тривиального „все течет”, верил, что истории суждено найти свою высшую точку в моменте абсолюта — в победе окончательной и рациональной формы человеческого общества и государства.

Гегеля не повезло в том смысле, что сейчас он известен главным образом как предшественник Маркса — наше же несчастье в том, что лишь немногие из нас знают подлинные работы

Гегеля, а не тот их искаженный образ, который складывается при пропускании его идей через фильтры марксизма. Во Франции, однако, была сделана серьезная попытка спасти Гегеля от марксистских интерпретаторов и восстановить его в качестве наиболее соответствующего нашему времени мыслителя. Безусловно, среди новейших французских интерпретаторов Гегеля первое место принадлежит Александру Кожеву, чрезвычайно одаренному русскому эмигранту, который в 1930-е годы руководил очень влиятельным семинаром в Парижской практической школе высших исследований.¹ В США Кожев мало кому известен, но он оказал огромное воздействие на интеллектуальную жизнь европейского континента. Его студентами были такие будущие светила как Жан-Поль Сартр (из левых) и Раймон Арон (из правых): послевоенный экзистенциализм позаимствовал у Гегеля ряд своих главных категорий именно через Кожева.

Кожев стремился восстановить значение Гегеля — автора „Феноменологии духа”, провозгласившего в 1806 г. наступление конца истории. В победе Наполеона, разгромившего тогда прусскую монархию в битве при Иене, Гегель увидел триумф идеалов Французской революции и надвигающуюся универсализацию государства, построенного на принципах свободы и равенства. Кожев не только не отрицал значение этого утверждения Гегеля в свете бурной истории последних полутора столетий, но, напротив, настаивал на том, что в своей основе оно было справедливым.² Сражение при Иене знаменовало конец истории, поскольку как раз в тот самый момент принципы Французской революции были овеществлены в действиях авангарда человечества (термин, хорошо известный марксистам). Хотя и после 1806 г. еще предстояло сделать немало (уничтожить рабство и работорговлю, предоставить избирательные права женщинам, рабочим, национальным меньшинствам и т. п.), основные принципы либерально-демократического государства уже не подлежали улучшению. Следствием происшедших в нашем столетии двух мировых войн и последовавших за ними переворотов и революций было лишь пространственное распространение этих принципов, и в итоге отдаленные от Запада ареалы человеческой цивилизации были доведены до уровня ее дальше всего продвинутых аванпостов, а находящиеся в авангарде цивилиза-

ции общества Европы и Северной Америки были вынуждены проводить в жизнь свой либерализм с еще большей полнотой.

Возникающее в конце истории государство является либеральным в той мере, в какой оно признает и защищает через свою законодательную систему универсальное право на свободу, и демократическим, поскольку оно существует только с согласия управляемых. По Кожеву, это так называемое универсальное однородное государство нашло свое реальное воплощение в странах послевоенной западной Европы — именно в тех одряхлевших, процветающих, самодовольных, эгоистичных и слабых государствах, самым героическим достижением которых было всего-навсего создание общего рынка.³ Но ничего иного и не следовало ожидать, ведь в основе человеческого общества и присущих ему конфликтов лежит существование таких „противоречий” как свойственные примитивному человеку поиски взаимного признания, диалектика отношений между хозяином и рабом, преобразование природы и господство над ней, борьба за всеобщее признание прав и дихотомия между пролетариатом и капиталистом. Но в универсальном однородном государстве все прошлые противоречия оказываются разрешенными, а все человеческие потребности — удовлетворенными. Никакие „великие” проблемы не порождают борьбы или конфликтов, так что не возникает нужды в генералах или государственных деятелях, остальное относится преимущественно к сфере экономической деятельности. Действительно, жизнь Кожева вполне соответствовала его учению. Уверовав, что уже не осталось работы для философов, поскольку учение Гегеля было повсеместно правильно понято и усвоено, Кожев после войны оставил преподавание и провел остаток жизни (он умер в 1968 г.) в качестве чиновника Европейского экономического сообщества.

В середине нашего века концепция конца истории должна была выглядеть в глазах современников Кожева как некий типичный эксцентричный солипсизм французского интеллектуала, унаследованный от второй мировой войны и проявившийся в самый разгар холодной войны. Чтобы оценить безумную смелость тезиса Кожева о наступлении конца истории, мы должны прежде всего понять смысл гегелевского идеализма.

II

По Гегелю, противоречия, являющиеся двигателями истории, существуют прежде всего в сфере человеческого сознания, иначе говоря, на уровне идей.⁴ Но это не тривиальные предвыборные лозунги американских политиков, а широкие объединяющие мировоззрения, которые наилучшим образом могут быть поняты под рубрикой идеологии. Идеология в этом смысле не сводится к тем мирским и явно выражаемым политическим доктринам, которые мы обычно обозначаем этим термином. Она может включать в себя религию, культуру и комплексы моральных ценностей, лежащие в основе жизни любого общества.

Гегелевское видение связей между идеальным и реальным (или материальным) мирами было чрезвычайно сложным, начиная с того, что для него различие между ними было только кажущимся.⁵ Он не считал, что реальный мир каким-либо элементарным образом соответствует или может быть приведен в соответствие идеологическим предпосылкам профессоров философии, или же что „материальный” мир не может приходить в столкновение с миром идеальным. Ведь профессору Гегелю пришлось временно прекратить свою работу в результате вполне материального события — битвы при Иене, не говоря уже о том, что труды и мысли Гегеля можно было остановить выпущенной в материальном мире пулей. В свою очередь, рука на спусковом крючке руководилась идеями свободы и равенства, которые двигали Французскую революцию.

С точки зрения Гегеля, все человеческое поведение в материальном мире и, следовательно, вся человеческая история, укоренены в достигнутом состоянии сознания. Эта идея близка высказанной Джоном Мейнардом Кейнсом, заметившим, что мнения деловых людей обычно вытекают из воззрений всеми забытых экономистов и академических бумагомарак прошлых поколений. Это сознание, подобно современным политическим доктринам, может и не быть явно выраженным и берущим в расчет собственное существование, но скорее принимает форму религии или каких-то несложных культурных или моральных обычаев. Тем не менее, эта сфера сознательного в конечном

счете с необходимостью проявляет себя в материальном мире, точнее, формирует материальный мир по собственному образу и подобию. Сознание — это причина, а не следствие, и оно может развиваться независимо от материального мира; следовательно, история идеологии составляет подлинную организующую основу видимого хаоса ежедневных событий.

Гегелевскому идеализму не слишком повезло с последователями. Маркс полностью поменял знаки в соотношении между реальным и идеальным, отнеся всю сферу сознательного — религию, искусство, культуру, самое философию — к „надстройке”, полностью определяемой господствующим способом производства. Другое печальное наследие марксизма — наша тенденция ограничиваться материалистическими или утилитарными объяснениями политических и исторических явлений и отсутствие в нас склонности верить в самостоятельную силу идей. Новейший пример этого — в высшей степени популярная монография Пола Кеннеди „Подъем и упадок великих держав”, где упадок приписывается простому перенапряжению экономики. Очевидно, что на определенном уровне это справедливо: империя, экономика которой еле-еле удовлетворяет ее текущие нужды, не может до бесконечности жить ресурсами государственного казначейства. Решение о том, какую долю ВВП отдать на военные нужды, отняв ее у потребления — 3 или 7%, — это всецело вопрос политических приоритетов, которые, в свою очередь, определяются в сфере сознания.

Материалистическая предрасположенность современного мышления характерна не только для левых, которых можно заподозрить в симпатиях к марксизму, но и для многих пылких антимарксистов. На правой стороне политического спектра существует то, что можно было бы назвать „уолл-стрит-джернелловской” школой детерминистического материализма, которая преуменьшает важность идеологии и культуры и видит в человеке исключительно рационалистическое и ориентированное на увеличение своих доходов существо. Именно этот тип индивидуальности и стремление к материальным стимулам представлены в качестве основы экономической жизни в учебниках по экономике.⁶ Проблематичность столь материалисти-

ческих воззрений будет сейчас продемонстрирована на одном небольшом примере.

Макс Вебер начинает свою знаменитую книгу „Протестантская этика и дух капитализма” указанием на различия между экономическими достижениями протестантских и католических общностей Европы и Америки, суть которых выражена в пословице, что протестанты хорошо едят, а католики хорошо спят. Вебер замечает, что, согласно любой экономической теории, представляющей человека в качестве рационального охотника за максимальной прибылью, увеличение рабочих расценок должно иметь следствием рост производительности труда. На деле же, однако, такое увеличение во многих традиционных крестьянских общностях приводило как раз к обратному результату, а именно, к *снижению* производительности: крестьянин, привыкший зарабатывать 2,5 марки в день, быстро обнаруживал, что при повышении расценок он может получать столько же, работая меньше. Цена досуга выше денег, он именно так и поступал. Предпочтение досуга доходу, или военизированной жизни спартанского гоплита богатству афинского купца, либо даже аскетической жизни раннекапиталистического предпринимателя традиционному безделью аристократа нельзя объяснить безличным действием материальных сил — все это приходит прежде всего из сферы сознания, из того, что мы широко обозначили здесь как идеологию. В самом деле, основная идея Вебера противоположна выводу Маркса: материальный способ производства не только не является „базисом”, но на деле сам оказывается „надстройкой”, имеющей корни в религии и культуре. Следовательно, для понимания возникновения современного капитализма и ориентированной на доход мотивации нужно изучать их предшественников в духовной сфере.

При взгляде на современный мир нищета материалистических теорий экономического развития делается еще более очевидной. „Уолл-стрит-джернелловская” школа детерминистического материализма обычно указывает на поразительные экономические успехи ряда стран Азии в течение последних десятилетий в качестве доказательства жизнеспособности экономических принципов свободного рынка, делая отсюда вывод, что подобное развитие гарантировано для всех обществ, в которых насе-

лению разрешено свободно реализовывать собственные материальные интересы. Несомненно, свободный рынок и стабильность политической системы — необходимое предварительное условие капиталистического экономического роста. Но при объяснении экономических достижений дальневосточных обществ не менее очевидна важность их культурного наследия — традиций трудовой этики, семейных ценностей и запретов на расточительность; религиозного наследия, которое, в отличие от ислама, не налагает ограничений на определенные формы экономического поведения, и других глубоко укорененных моральных принципов.⁷ Но интеллектуальное давление материализма до сих пор столь существенно, что ни одна уважающая себя современная теория экономического развития не рассматривает всерьез сознание и культуру в качестве матрицы, которая формирует экономическое поведение.

Неумение понять, что корни экономического поведения лежат в сфере сознания и культуры, ведет к распространенной ошибке приписывать материальные причины духовным по самой своей природе явлениям. Например, на Западе стало общим местом интерпретировать китайские, а затем и советские реформистские движения как победу материального над идеальным — иначе говоря, как признание того, что идеологические призывы не способны заменить материальные стимулы в создании высокопродуктивной современной экономики и что процветание невозможно без апелляции к личной выгоде. Однако глубинные дефекты социалистических экономик были очевидны для любого дающего себе труд подумать наблюдателя еще тридцать или сорок лет назад. Почему же эти страны стали отходить от центрального планирования лишь в 1980-е годы? Ответ лежит в сознании лидеров и элиты этих обществ, решившихся на выбор в пользу „протестантского” стремления к богатству и готовности к риску и на отказ от „католического” пути бедности и стабильности.⁸ Выбор этот ни в коей мере не предопределялся материальными условиями жизни в каждой стране накануне начала реформ — напротив, он стал результатом победы одной идеи над другой.⁹

Для Кожева, как для любого убежденного гегельянца, понимание фундаментальных исторических процессов требует

понимания развития идей, поскольку сознание с неизбежностью переделывает материальный мир на собственный лад. Утверждение, что история закончилась в 1806 г., означало, что идеологическая эволюция человечества завершилась на идеалах Французской и Американской революций: хотя те или иные режимы в материальном мире и не внедряли их у себя полностью, теоретическая истинность этих идеалов абсолютна и уже не может быть улучшена. Поэтому для Кожева не суть важно, что сознание послевоенного поколения европейцев еще не стало мировым универсальным сознанием; коль скоро развитие идеологии закончено, неизбежна всемирная победа однородного государства.

У меня нет ни места, ни, честно говоря, способностей для детальной защиты гегелевской радикально-идеалистической перспективы. Дело не в правильности гегелевской системы, но в том, давала ли эта перспектива возможность раскрыть проблематичную природу многих материалистических объяснений, которые мы зачастую принимаем в качестве само собой разумеющихся истин. Это говорится не ради отрицания материальных факторов как таковых. С точки зрения последовательного идеалиста, человеческое общество может быть организовано вокруг любого произвольно выбранного набора принципов, каким бы ни было их отношение к материальному миру. И люди на практике неоднократно доказывали свою способность выносить самые тяжелые физические лишения во имя существующих лишь в духовной сфере идей, будь то вера в священную сущность коров или представления о природе святой Троицы.¹⁰

Но при том как само восприятие человеком материального мира оформляется под воздействием представлений об этом мире, существующих в его историческом сознании, материальный мир, в свою очередь, может воздействовать на жизнеспособность тех или иных состояний сознания. В частности, великолепное изобилие передовых либеральных экономик и их бесконечно развитая потребительская культура сделали для них возможным сохранение и поощрение либерализма в политической сфере. Я хочу избежать материалистического детерминизма, утверждающего, что либеральная экономика автоматически порождает либеральную политику, поскольку я верю, что и полити-

ка, и экономка покоятся на каких-то базисных автономных состояниях сознания, и их наличие делает возможным само их существование. Но вот состояние сознания, способствующее росту либерализма, судя по всему, стабилизируется как раз тем самым образом, которого можно ожидать в конце истории, если оно подкреплено богатством современной рыночной экономики. Сущность универсального однородного государства можно было бы выразить таким образом: это либеральная демократия в политической области, соединенная с полной доступностью видеоманитонов и стереосистем в экономике.

III

Действительно ли мы уже достигли конца истории? Другими словами, существуют ли в жизни людей какие-то фундаментальные „противоречия“, не разрешимые в контексте современного либерализма, но поддающиеся разрешению методами, присущими какой-то иной политико-экономической структуре? Если мы принимаем сформулированные выше идеалистические предпосылки, ответ на этот вопрос следует искать в сфере идеологии и сознания. Наша задача не в том, чтобы давать исчерпывающие ответы на любые вызовы либерализму, объявляемые всеми мессиями с манией величия в современном мире, но только на те, которые воплощены в действиях серьезных социальных или политических сил и движений и потому являются частью мировой истории. Для наших целей не столь уж важны любые странные идеи, приходящие в голову албанцам или жителям государства Буркина-Фасо, поскольку наши интересы ограничены тем, что в определенном смысле можно назвать общим идеологическим наследием человечества.

В прошлом столетии главные вызовы либерализму бросили фашизм и коммунизм. Фашизм¹¹ указывал на политическую слабость, материализм, аномию и разрозненность Запада как на фундаментальные противоречия либеральных обществ и утверждал, что эти дефекты могут быть устранены лишь сильным государством, создающим новый „народ“ на базе идей национальной исключительности. В качестве действующей идеологии фашизм был уничтожен второй мировой войной.

Конечно же, это поражение было вполне материальным, но оно обернулось и поражением в идейной сфере. В качестве идеи фашизм был разрушен не вызванным им по отношению к себе всеобщим моральным отвращением, поскольку многие были готовы принимать саму идею, пока казалось, что за ней будущее. Идею погубило то, что она не принесла успеха. После войны для большинства стало ясно, что германский фашизм, как и его прочие европейские и азиатские варианты, был обречен на самоуничтожение. Не было никаких материальных причин, мешавших в послевоенное время возникновению в тех или иных регионах новых фашистских движений, за исключением лишь того обстоятельства, что экспансионистский ультра национализм порождал бесконечные конфликты и в конце концов привел к разрушительным военным поражениям, что полностью подорвало его привлекательность. Развалины Рейхстага и руины разрушенных атомными бомбами Хиросимы и Нагасаки погребли под собой эту идеологию как материально, так и на уровне сознания. В итоге все вдохновленные германским и японским примерами профашистские движения типа аргентинского перонизма или возглавлявшейся Субхасом Чандрой Бозе индийской национальной армии сошли после войны на нет.

Куда серьезнее оказался идеологический вызов либерализму, предложенный другой альтернативной идеологией — коммунизмом. Маркс, используя гегелевский язык, утверждал, что либеральное общество несет в себе неустранимое и не допускающее разрешения его собственными силами противоречие между трудом и капиталом, — и с тех пор именно это стало самым тяжелым обвинением против либерализма. Не подлежит сомнению, однако, что на Западе классовая проблема была вполне успешно разрешена. Как заметил (среди других) и Кожев, згалигаризм современной Америки довольно точно аппроксимирует то бесклассовое общество, о котором некогда мечтал Маркс. Это не следует понимать в том смысле, что в Соединенных Штатах вообще исчезли богатые и бедные или что различия между ними не увеличились в последние годы. Однако принципиальные причины существующего в нашем обществе экономического неравенства куда менее связаны с его базисной правовой или социальной структурой, которая остается в своей основе згали-

тарной и умеренно „перераспределительской”, нежели с культурными и социальными характеристиками составляющих его групп, что, в свою очередь, исторически унаследовано нами от предшествующих новейшему периоду времен. Например, бедность чернокожего населения в Соединенных Штатах — это не неизбежное следствие либерализма, но скорее „наследство рабства и расизма”, сохраняющееся на протяжении длительного времени и после формального упразднения рабовладения.

В итоге это отступление классовой проблематики дает возможность с уверенностью сказать, что в сегодняшнем развитом западном мире привлекательность коммунизма уменьшилась как никогда ранее со времен первой мировой войны. На это существует множество указаний: падение членства и избирательной поддержки основных европейских компартий и их открыто ревизионистские программы; успех у избирателей — от Британии и Германии до Японии и США — консервативных партий, которые все до единой настроены прорыночно и антистатистски; новейший интеллектуальный климат, при котором даже идущие „в авангарде” общественные лидеры уже не считают, что буржуазное общество подлежит непременно свержению и уничтожению. Я не хочу сказать, что воззрения прогрессивных интеллектуалов на Западе не демонстрируют множества глубоких патологий. Однако верящие, что будущее твердо принадлежит социализму, обычно либо очень стары, либо высказывают свои мнения на обочине подлинных политических споров, разыгрывающихся в их обществах.

Нужно отметить, что для североатлантического мира социалистическая альтернатива никогда не была слишком вероятной, и вера в нее в течение последних десятилетий поддерживалась преимущественно успехами этой альтернативы за пределами данного региона. Однако масштабы основных идеологических перемен оказываются особенно поражающими как раз вне европейского континента. Самые впечатляющие сдвиги, безусловно, имели место в Азии. Вследствие устойчивости и одновременно приспособляемости местных культур, Азия с начала нашего века сделалась полем битвы для многих импортированных с Запада идеологий. После окончания первой мировой войны ростки азиатского либерализма были очень чахлыми. Сейчас

уже забылось, какой печальной представляла картина политического будущего Азии всего лишь десять-пятнадцать лет назад. Трудно помнить также, сколь важным казался исход азиатских идеологических сражений для политического развития всего мира.

Фашизм, представленный императорской Японией, был первой из обреченных на поражение азиатских альтернатив либерализму. Как и его немецкий аналог, японский фашизм был побежден силой американского оружия в тихоокеанской войне, и либеральная демократия была затем навязана Японии теми же Соединенными Штатами. Западный капитализм и политический либерализм после их пересадки на японскую почву были усвоены и приспособлены к местным условиям и изменились почти до полной потери сходства со своим оригиналом.¹² Сегодня многие американцы сознают, что организационные структуры японской промышленности сильно отличаются от тех, которые доминируют в Соединенных Штатах и Европе, и что демократичность характерных для либерально-демократической партии Японии способов фракционного маневрирования в политике все же находится под вопросом. Тем не менее, самый факт, что ключевые элементы политического либерализма были столь успешно интегрированы в уникальную систему японских традиций и институтов, в конечном счете гарантирует их выживание. Еще важнее тот отпечаток, который Япония, в свою очередь, наложила на мировую историю, когда она, следуя по пятам Соединенных Штатов, создала у себя подлинно всеобщую потребительскую культуру, сделавшуюся символом и одновременно основой универсального однородного государства. В. С. Найпаул, путешествуя по Ирану вскоре после революции Хомейни, обратил внимание на повсеместность рекламных плакатов, прославляющих продукцию электронных фирм „Соли”, „Хитачи” и „Джей-Ви-Си”. Их привлекательность несколько не пострадала в результате переворота, что само по себе показывало беспочвенность претензий режима на восстановление государства, действующего исключительно на базе законов шариа. Стремление получить доступ к потребительской культуре, стимулированное в значительной мере Японией, сыграло важнейшую роль в распространении экономического либера-

лизма по всей Азии и, следовательно, в поощрении либерализма политического.

Сейчас всем известны экономические успехи других недавно индустриализированных азиатских стран, пошедших по пути Японии. С гегельянской точки зрения важно, что и там политический либерализм следовал за либерализмом в экономике — пусть медленнее, чем многие надеялись, но, тем не менее, с очевидной неотвратимостью. Здесь мы вновь наблюдаем победу универсального однородного государства. Южная Корея давно превратилась в современное урбанизованное общество со все более растущим и образованным средним классом, смыкающимся с развивающимися во всем обществе демократическими процессами. В этих условиях для значительной части данной группы правление анахронистического военного режима оказалось пестерпимым — особенно с учетом того, что Япония, всего лишь на какой-то десяток лет обгоняющая Южную Корею экономически, уже свыше сорока лет обладает парламентскими институтами. Даже прежний социалистический режим в Бирме, столько десятилетий существовавший в угрюмой изоляции от доминировавших во всей Азии тенденций, и тот в прошлом году испытал давление сил, выступающих за либерализацию экономики и политической системы. Рассказывают, что разочарование в правлении бирманского автократа началось с того, что один крупный чиновник поехал на лечение в Сипгапур и не мог удержаться от слез, увидев, как далеко отстала социалистическая Бирма от стран АСЕАН.

Сила либеральных идей, однако, впечатляла бы куда меньше, если бы они не заразили старейшую и крупнейшую культуру Азии — китайскую. Само существование коммунистического Китая порождало альтернативный полюс идеологического притяжения и в этом качестве создавало угрозу либерализму. Однако последние пятнадцать лет свидетельствуют почти о полной дискредитации марксизма-ленинизма как экономической системы. Начиная со знаменитого Третьего пленума своего Десятого центрального комитета в 1978 г., китайская компартия стала проводить деколлективизацию восьмисотмиллионного крестьянского населения страны. Роль государства в сельском хозяйстве была ограничена сбором налогов, а производство

потребительских товаров резко увеличено, чтобы дать крестьянам почувствовать преимущества универсального однородного государства и тем самым стимулировать их работу. Эта реформа всего лишь за пять лет удвоила производство зерновых в Китае и создала для Дэн Сяопина прочную политическую базу, пользуясь которой он смог распространить реформу и на другие отрасли экономики. Экономическая статистика еще даже не приблизилась к полиому описанию присущих постреформенной китайской экономике динамизма, инициативности и открытости.

Китай ни в коей мере нельзя назвать либеральной демократией. Доля рыночной экономики в его народном хозяйстве к настоящему времени не превышает 20%; что еще важнее, страной до сих пор правит ниже не выбранная компартия, которая доселе не проявляла ни малейшего желания отказаться от монополии на власть. Дэн, в противоположность Горбачеву, не давал никаких обещаний относительно развития демократии в Китае, и там нет ничего похожего на советскую гласность. Китайское руководство на деле проявляет куда большую осмотрительность в критике Мао и его режима, нежели Горбачев в отношении Сталина и Брежнева, и в Китае продолжают на словах признавать марксизм-ленинизм в качестве идеологической основы системы. Но каждый, знакомый с образом мыслей и поведением новой технократической элиты, правящей ныне Китаем, знает, что марксизм и все принципы идеологии на деле не оказывают никакого влияния на поведение практической политики в Китае и что впервые со времен революции буржуазное потребление приобрело в этой стране реальный смысл. Различные задержки в темпе реформ, кампании против „духовного заражения“ и атаки на политических диссидентов нужно считать скорее тактическими ходами, которые делаются на нынешней стадии управления чрезвычайно сложным политическим переходным процессом. И все-таки притяжение либеральных идей по мере потери экономической власти остается очень сильным, и китайская экономика делается все более открытой по отношению к окружающему миру. В Соединенных Штатах и других странах Запада сейчас учатся более 20 тыс. китайских студентов, почти все они — дети китайской элиты. Трудно поверить,

что когда они вернутся домой, чтобы принять бразды правления страной, им придется по душе, что Китай остается единственной азиатской страной, не затронутой глобальными процессами демократизации. Студенческие демонстрации в Пекине, разразившиеся впервые в декабре 1986 г. и повторившиеся недавно в связи со смертью Ху Яобая, были лишь началом неминуемого усиления давления на систему с целью добиться внутри нее политических изменений.

Действительная важность происходящего в Китае с точки зрения мировой истории не сводится к нынешнему состоянию реформ или даже их перспективам на будущее. В центре всего оказывается тот факт, что Китайская народная республика уже не может больше служить маяком для антилиберальных сил по всему миру, будь то партизаны где-то в азиатских джунглях или вышедшие из семей среднего класса парижские студенты. Вместо того чтобы стать примером будущего Азии, маоизм превратился в анахронизм, и на деле как раз континентальный Китай оказался под сильнейшим воздействием процветания и динамики своих заморских соотечественников — ирония истории выражается здесь в конечной победе Тайваня.

Однако как бы ни были важны все эти перемены в Китае, последний гвоздь в гроб марксистско-ленинской альтернативы либеральной демократии был забит событиями в Советском Союзе, этом изначальном „отечестве мирового пролетариата“. Если говорить о формальных институтах, то нужно признать, что не так уж много изменилось в Советском Союзе за четыре года после прихода к власти Горбачева: кооперативное движение и структуры свободного рынка составляют лишь малую часть советской экономики, которая все еще подчиняется центральному планированию; коммунистическая партия, лишь недавно начавшая проводить внутрипартийную демократизацию и частично уступать власть другим группам, все еще доминирует на политической сцене; режим продолжает утверждать, что он стремится только к модернизации социализма и сохраняет марксизм-ленинизм в качестве идеологической основы; наконец, Горбачев имеет дело с потенциально мощной консервативной оппозицией, способной нейтрализовать многие из уже произведенных перемен. Более того, трудно испытывать

чрезмерный энтузиазм в отношении успеха предложенных Горбачевым реформ, политических или экономических. Но моя цель в данном случае состоит не в анализе событий с точки зрения ближайших перспектив и не в предложении политических прогнозов, а в прослеживании глубинных тенденций в сфере идеологии и сознания. С этой точки зрения очевидно, что уже произошли потрясающие перемены.

Как утверждают по крайней мере на протяжении последнего поколения эмигранты из СССР, в этой стране уже практически никто не верит в марксизм-ленинизм, и менее всего — советская элита, все еще цинично продолжающая провозглашать марксистские лозунги. Коррупция и разложение государства в позднебрежневскую эру, однако, не имели, судя по всему, особого значения. Пока государство отказывалось ставить под вопрос любые фундаментальные принципы, лежавшие в основе жизнедеятельности советского общества, система в силу инерции все еще была способна к нормальному функционированию и подчас даже могла проявлять определенный динамизм в военной и внешнеполитической сферах. Марксизм-ленинизм стал чем-то вроде магического заклинания, оставившегося, несмотря на всю свою абсурдность и бессмысленность, той единственной общей основой, опираясь на которую элита могла управлять советским обществом.

Произошедшее за четыре года после прихода к власти Горбачева — это революционная атака на самые фундаментальные институты и принципы сталинизма и замена их иными принципами, хотя еще и не либеральными, но связанными между собой единственно либерализмом. Очевиднее всего это в сфере экономики. Окружающие Горбачева экономисты-реформаторы весьма радикальны в поддержке идеи свободного рынка. Дело доходит до того, что некоторые из них, как Николай Шмелев, не возражают против открытых сравнений с Милтоном Фридманом. Лидирующая сегодня школа советских экономистов фактически едино в том мнении, что корни экономической неэффективности кроются в централизованном планировании и командной системе распределения и что если советская система намерена исправить свои пороки, она должна допустить свободное и децентрализованное принятие решений в сфере

капиталовложений, ценообразования и занятости. После двух лет идеологической неопределенности эти принципы, в конце концов, стали частью действующей политики. Были одобрены новые законы об экономической независимости предприятий, о кооперативах и уже в 1988 г. — об аренде и семейных крестьянских хозяйствах. Конечно, экономическая реформа, проводимая в жизнь, страдает множеством крупных дефектов. Важнейший из них — задержка комплексной реформы ценообразования. Однако проблема уже больше не является *концептуальной*: судя по всему, Горбачев и его помощники достаточно хорошо понимают экономическую логику перехода к рыночным отношениям, однако, подобно лидерам стран третьего мира в их отношениях с международным валютным фондом, они опасаются социальных последствий отмены потребительских дотаций и других форм ориентации на государственный сектор.

Что касается политической сферы, то предложенных изменений в советской конституции, правовой системе и принципах деятельности партии еще далеко не достаточно для превращения государства в либеральное. До сих пор Горбачев говорил о демократизации преимущественно по отношению к внутрипартийным делам и не проявлял особого желания положить конец партийной монополии на власть. Фактически одной из целей проводимых реформ является укрепление, а тем самым легитимизация власти КПСС.¹³ Тем не менее, многие проводимые реформы исходят из общих принципов: что „народ“ должен обладать подлинной самостоятельностью в решении собственных дел и вышестоящие политические органы должны быть ответственны перед нижестоящими, а не наоборот; что верховенство закона, базирующееся на разделении властей и независимости судебных органов, должно превалировать над произвольными полицейскими акциями; что право собственности подлежит юридической защите; что необходимо признание права на открытое обсуждение важных для общества проблем и на открытое выражение мнений, отличных от общепринятых взглядов; что Советы разных уровней должны получить статус общественного форума, открытого для участия всех советских граждан, и что должна возникнуть более плюралистическая и терпимая политическая культура. Все это восходит к совершенно иным источни-

кам, нежели советская марксистско-ленинская традиция, даже если все эти нововведения недостаточно четко сформулированы и плохо воплощаются на практике.

Постоянные заверения Горбачева в том, что во всех его действиях нет ничего кроме стремления восстановить исходный смысл ленинизма, — это лишь род орвелловской двуречи. Горбачев и его единомышленники неизменно повторяют, что внутрипартийная демократия была одной из основ ленинизма и что ленинское наследие, впоследствии искаженное Сталиным, включало в себя такую либеральную практику как открытые дискуссии, выборы тайным голосованием и поддержка власти закона. Конечно, любой индивидуум выигрывает при сравнении со Сталиным. Но все-таки сомнительно, что можно четко отделить Ленина от его преемника. Сутью ленинского демократического централизма была не демократия, а централизм, иначе говоря, абсолютно жесткая, монолитная и суровая диктатура нерархически организованной авангардной коммунистической партии, выступающей от имени народа, не говоря уже о ленинском презрении к „буржуазной законности“ и свободам. Вся его крайне недружественная полемика с Карлом Каутским, Розой Люксембург и другими его социал-демократическими и меньшевистскими соперниками скреплялась как раз его глубокой убежденностью в невозможности успешного совершения революции с помощью демократически управляемой организации.

Утверждения Горбачева о намерении вернуться к подлинному Ленину очень нетрудно понять: благословив всестороннее разоблачение сталинизма и брежневизма как корней нынешних советских бед и трудностей, он нуждается в какой-то исторической точке опоры для легитимизации продолжающегося правления КПСС. Но тактические заявления Горбачева не должны скрывать от нас тот факт, что провозглашенные им принципы демократизации и децентрализации в экономической и политической сферах в высшей степени подрывают некоторые из наиболее фундаментальных посылок марксизма и ленинизма. Если бы нынешние реформистские идеи в экономике были воплощены в жизнь в полном объеме, было бы трудно понять, в чем советская экономика является более социалистической, чем

экономические системы западных стран с развитыми общественными секторами народного хозяйства.

Сегодняшний Советский Союз ни в коей мере не может быть назван либеральной или демократической страной, и я не думаю, что перестройка преуспешит настолько, что эти определения будут приложимы к СССР в сколько-нибудь близком будущем. Но для вступления мира в фазу конца истории отнюдь не необходимо, чтобы либерализм победил во всех без исключения странах — нужно лишь, чтобы они положили конец своим идеологическим претензиям представлять особые и высшие формы человеческого общества. Я убежден, что как раз в этом отношении в Советском Союзе произошел в последние годы очень важный сдвиг. Санкционированная Горбачевым критика советской системы оказалась настолько разрушительной и всесторонней, что практически сейчас уже нет шансов на сколько-нибудь естественное возвращение к сталинизму либо брежневщине. Горбачев в конце концов позволил людям заговорить о том, что в глубине души они чувствовали много лет: что магические заклинания марксизма-ленинизма попросту нелепы и что советский социализм не только ни в чем не превосходит Запад, но на деле является монументальной неудачей. Ни для кого не секрет наличие в СССР консервативной оппозиции, состоящей как из рядовых рабочих, опасаящихся безработицы и инфляции, так и из партийных функционеров, страшящихся потери своих постов и привилегий; возможно, этой оппозиции удастся избавиться от Горбачева в ближайшие годы. Однако в центре пожеланий обеих названных групп лежит традиция, стремление к порядку и власти, но не глубокая приверженность марксизму-ленинизму, которому они разве что отдают дань как официальному учению, так как связывали его с успехом своей жизни.¹⁴ После горбачевской разрушительной критики восстановление авторитета власти в Советском Союзе возможно лишь на основе какой-то новой мощи идеологии, которая покамест никак не проявилась на историческом горизонте.

Если мы допустим на мгновение, что фашистская и коммунистическая альтернативы либерализму не состоялись, то тогда следует задать вопрос, есть ли у него какие-то иные идеологические конкуренты? Или, выражаясь иначе, присущи ли либеральному обществу, кроме классовых, какие-то другие неразрешимые

противоречия? Здесь просматриваются две возможности: религия и национализм.

Недавний подъем религиозного фундаментализма в рамках христианской, иудейской и мусульманской традиций заметен повсеместно. Есть искушение сказать, что некоторым образом возрождение религии демонстрирует общую неудовлетворенность безликостью и духовной пустотой либеральных потребительских обществ. Пустота в сердцевине либерализма, безусловно, является его идеологическим дефектом (впрочем, для осознания этого недостатка отнюдь не обязательно обращаться к религиозной перспективе¹⁵). Но отнюдь не ясно, исправимо ли это политическими средствами. Современный либерализм исторически возник как следствие слабости построенных на религиозном фундаменте обществ, которые, будучи не в состоянии придти к согласию относительно природы праведной жизни, не смогли обеспечить своему населению даже минимальных условий для проживания в мире и спокойствии. В современном мире лишь ислам предлагает теократическое государство как политическую альтернативу и либерализму, и коммунизму. Но эта доктрина не обладает особой привлекательностью для немусульман, и трудно поверить, что это движение сможет приобрести всемирную значимость. Что касается других менее организованных религиозных импульсов, то они вполне успешно удовлетворяются в сфере частной жизни, на что либеральное общество не накладывает никаких запретов.

Другое главное „противоречие“, потенциально не разрешимое для либерализма, — национализм и прочие формы расового и этнического сознания. Верно, конечно, что со времени битвы при Йене национализм служил корнем очень многих конфликтов. Катаклизм двух мировых войн был порожден разными обликами национализма промышленно развитых стран. В послевоенной Европе эти страсти до некоторой степени поутихли, но они все еще чрезвычайно сильны в третьем мире. Национализм был исторической угрозой либерализму в Германии и все еще продолжает оставаться таковой в некоторых изолированных зонах „дисторической“ Европы, таких как Северная Ирландия.

Совсем не ясно, однако, является ли национализм дейст-

вительно неустранимым противоречием, скрытым в самой сердцевине либерализма. Во-первых, национализм — это не единое явление. Спектр его простирается от умеренной культурной ностальгии до высокоорганизованных и тщательно отработанных доктрин национал-социализма. Только систематизированные националистические концепции последнего рода могут считаться формальной идеологией одного уровня с либерализмом или коммунизмом. Абсолютное большинство существующих в мире националистических движений не имеет никаких политических программ, простирающихся дальше чистого отрицания — стремления добиться независимости от какой-то другой группы или народа, и не предлагает ничего, что бы напоминало всеобъемлющие программы действий для социо-экономических организаций. Такой национализм вполне совместим с доктринами и идеологиями, предлагающими подобные программы. В либеральных обществах национализм такого рода может стать источником конфликтов, но эти конфликты вытекают не из либерализма как такового, а скорее из неполноты данного варианта либерализма. Не подлежит сомнению, что очень многие этнические и национальные напряжения в современном мире объясняются тем, что люди вынуждены жить в нерепрезентативных политических системах, причем отнюдь не вследствие собственного выбора.

Нельзя исключить, что в либеральных обществах появятся новые идеологии или разовьются ныне не заметные противоречия. Состояние мира, судя по всему, свидетельствует, что фундаментальные принципы социо-политической организации не слишком прогрессировали с 1806 г. С тех пор многие войны и революции осуществлялись во имя идеологических принципов, претендующих на большую прогрессивность в сравнении с либерализмом, но история, в конце концов, разоблачила все эти претензии, и они таким образом способствовали распространению универсального однородного государства до такой степени, что оно стало оказывать ощутимое воздействие на общий характер международных отношений.

IV

Как скажется только что описанный конец истории на международных отношениях? Очевидно, что большая часть Третьего мира еще не выпуталась из исторической трясины и долго еще будет оставаться зоной конфликтов. Однако сосредоточим внимание на крупнейших и наиболее развитых государствах, от которых, в конечном счете, более зависит течение мировой политики. Вряд ли Россия и Китай в предвидимом будущем присоединятся в качестве либеральных обществ к развитым странам Запада. Но допустим на мгновение, что их внешнеполитические курсы освободятся от воздействия догм марксизма-ленинизма. Эта перспектива еще не осуществилась, но она может стать вполне реальной возможностью в течение нескольких ближайших лет. Как при допущении этой гипотезы изменятся основные характеристики деидеологизованного мира по сравнению с известными из нашего прошлого опыта?

Самый типичный ответ: не особенно. Причина этому в том, что, по мнению многих и многих исследователей международных отношений, идеологическая кожа обтягивает прочный скелет великодержавных национальных интересов, что гарантирует продолжение острейших международной конкуренции и конфликтов. В самом деле, согласно популярной в академических кругах теории международных отношений, уже сама международная система конфликтна по своей природе, так что для понимания перспектив будущих конфликтов нужно прежде всего рассматривать ее структуру (скажем, учитывать ее биполярность или мультиполярность) и лишь во вторую очередь обращать внимание на конкретный характер отдельных наций и правящих там режимов. В сущности, эта теория переносит на международные отношения гоббсовскую концепцию политики, исходя из того, что агрессивность и отсутствие безопасности — это не продукты определенных исторических обстоятельств, а универсальные свойства человеческих обществ.

Сторонники этой концепции используют в качестве возможной модели современного деидеологизованного мира межгосударственные отношения, характерные для классического европейского баланса сил прошлого века. Чарльз Краут-

хаммер, например, недавно выступил с утверждением, что в случае освобождения СССР от марксистско-ленинской идеологии в итоге горбачевских реформ, поведение этой страны вернется к образцам, типичным для императорской России XIX века.¹⁶ Хотя он предпочитает этот вариант угрозе, исходящей от России коммунистической, из его рассуждений вытекает, что и в дальнейшем международные отношения не будут испытывать недостатка в конфликтах и конкуренции, подобных тем, которые в прошлом веке осложняли сосуществование, скажем, России с Англией или вильгельмовской Германией. Конечно, это весьма удобная точка зрения для людей, согласных признать наличие серьезных изменений в Советском Союзе, но не желающих брать на себя ответственность рекомендовать вытекающую из такой предпосылки радикальную смену политического курса. Однако соответствует ли она действительности?

На деле утверждение, согласно которому идеология является всего лишь надстройкой, покоящейся на фундаменте стабильных великодержавных интересов, само по себе в высшей степени сомнительно. Ведь для любого государства способы определения его жизненных интересов отнюдь не универсальны — в их основе всегда лежат те или иные глубинные идеологические установки, подобно тому, как (что было уже показано) экономическое поведение определяется исторически предшествовавшими ему состояниями сознания. Так, в нашем столетии некоторые государства приняли в высшей степени разработанные и содержащие явные внешнеполитические выводы доктрины, оправдывающие экспансионизм — такие, как марксизм-ленинизм и национал-социализм.

Присущие европейским государствам прошлого века соперничество и экспансионизм покоились на не менее идеальном фундаменте, но стимулировавшие их идеологии были не столь откровенны в сравнении с доктринами нашего столетия. Во-первых, большинство „либеральных” европейских государств такими отнюдь не являлись, поскольку верили в законность империализма, иначе говоря, в право одной нации управлять другими, не испрашивая на то их согласия. Каждая нация

имела оправдания для своего империализма — от простой веры в право сильного, особенно в отношении неевропейцев, до теории бремени белого человека, идеи европейской миссии распространения христианства и намерения дать цветным народам доступ к культуре Рабле и Мольера. Однако каждая „развитая” страна, вне зависимости от ее конкретного идеологического базиса, исходила из правомерности господства высших цивилизаций над низшими (сюда, кстати, можно включить и отношение Соединенных Штатов к Филиппинам). Во второй половине прошлого века это привело к общему стремлению добиться территориального расширения, что сыграло немалую роль в развязывании первой мировой войны.

Идеология немецкого фашизма оправдывала право Германии управлять не только неевропейскими, но и *всеми* негерманскими народами, она была радикальным и деформированным следствием империализма прошлого века. В ретроспективе все же кажется, что Гитлер был больной ветвью на главном стволе европейского развития. Решительное поражение Гитлера полностью дискредитировало легитимность любого способа территориального расширения.¹⁷

После второй мировой войны европейский национализм лишился клыков и утратил реальное влияние на международную политику. В итоге возникшая в прошлом веке модель поведения великих держав сделалась серьезным анахронизмом. Самой крайней из возникших в послевоенное время в Западной Европе форм национализма стал голлизм, но и он утверждал себя преимущественно в сфере культуры, ограничиваясь в области большой политики лишь мелкими уколами. Достигшая фазы конца истории часть современного мира в международной жизни куда больше занимается экономикой, нежели политикой или стратегией.

Конечно, развитые страны Запада сохраняют крупные вооруженные силы и в послевоенное время вступили в лихорадочную борьбу за сферы влияния, что было реакцией на международную коммунистическую угрозу. Такое поведение, однако, вынуждалось именно внешней угрозой со стороны государств с откровенно экспансионистскими идеологиями — без этого оно и не стало бы реальностью. Чтобы принять „неореалистическую” теорию международных отношений, необходимо было бы

тическую” теорию всерьез, нужно попытаться вообразить, что было бы, если бы Китай и Россия исчезли с лица земли. Вступили ли бы страны Организации Экономического Сотрудничества и Развития на „естественный” путь соперничества? Иначе говоря, стали ли бы Франция и Западная Германия вооружаться друг против друга как в 1930-е годы? Стали ли бы Австралия и Новая Зеландия посылать в Африку военных советников, чтобы блокировать взаимные успехи на этом континенте, и занялись бы Соединенные Штаты и Канада постройкой военных укреплений на их общей границе? Конечно, такая перспектива нелепа: без марксистско-ленинской идеологии всеобщая перестройка мира по образу и подобию Общего рынка стала бы куда более вероятной, нежели распад Европейского Экономического Сообщества на конкурирующие между собой в духе прошлого века отдельные страны. В самом деле, как показывает американский опыт взаимодействия с Европой по проблемам международного терроризма или поведения Ливии, европейские страны ушли даже дальше США по пути отрицания правомерности использования силы в международных делах, включая самооборону.

Поэтому автоматическое допущение, что после избавления от коммунистической экспансионистской идеологии Россия неизбежно начнет там, где остановились цари перед Октябрьской революцией, несерьезно. Оно исходит из веры, что эволюция человеческого сознания в промежутке между революцией и нашим временем остановилась и что советская власть, стремящаяся воспринять самые модные экономические идеи в сфере внешней политики, вернется к воззрениям, которые для остальной части Европы уже на протяжении столетия являются анахронизмом. Невозможность возвращения к прежним идеям подтверждается и опытом Китая после начала там реформ. Китайская агрессивность и экспансионизм на мировой сцене фактически сошли на нет: Пекин уже больше не поддерживает маоистские заговоры и не пытается распространить свое влияние на далеком африканском континенте, что он делал в 1960-е годы. Нельзя считать, что в новейшей политике Китая вообще нет дестабилизирующих моментов. Так, например, Китай продает странам ближневосточного региона технологию производства баллистических ракет. Кроме

того, поддержкой Красных Кхмеров против Вьетнама Китай продолжает демонстрировать вполне традиционную великодержавность. Но первое обстоятельство объясняется коммерческими соображениями, а второе является пережитком прежнего идеологически укорененного противостояния. Новый Китай куда более напоминает голлистскую Францию, нежели Германию перед первой мировой войной.

Основная проблема в будущем, однако, состоит в том, в какой мере советская элита усвоила ментальность универсального однородного государства, иначе говоря, послегитперовской Европы. Насколько я могу судить по тамошним публикациям и по личным встречам, группирующаяся вокруг Горбачева либеральная советская интеллигенция за очень короткое время пришла к идее конца истории, в значительной степени благодаря контактам с европейской цивилизацией, которые она имела со времен Брежнева. Под общим названием „новое политическое мышление” обрисовывается мир, в котором доминируют экономические соображения и отсутствуют идеологические основания для серьезных конфликтов между нациями. Исходя из этого, использование военной силы делается менее допустимым. Как заявил в середине 1988 г. советский министр иностранных дел Шеварднадзе,

„Если человечество способно выжить сегодня лишь в условиях мирного сосуществования — а оно, безусловно, не способно обеспечить себе будущее в условиях перманентной конфронтации, — то не напрашивается ли вывод, что противоборство двух систем уже не может рассматриваться как ведущая тенденция современной эпохи.

На передний план теперь выступает нарастающая тенденция к взаимозависимости государств мирового сообщества, определяемая такими объективными условиями в мире, когда „противоборство между капитализмом и социализмом может протекать только и исключительно в формах мирного соревнования и мирного соперничества”.*

* Материалы XXVII съезда КПСС, М., 1986, с. 66.

На современном этапе решающее значение приобретает способность ускоренными темпами на базе передовой науки, высокой техники и технологии наращивать материальные блага и справедливо распределять их, соединяемыми усилиями восстанавливать и защищать необходимые для самовывживания человечества ресурсы.¹⁸

Однако выразившееся в „новом мышлении“ постисторическое сознание является лишь одним из возможных будущих путей Советского Союза. В СССР всегда существовала сильная традиция великорусского шовинизма, который с приходом гласности получил больше возможностей для самовыражения. Возможно и временное возвращение к традиционному марксизму-ленинизму как к идее, объединяющей тех, кто хочет восстановить ослабленную Горбачевым систему власти. Но в СССР, как и в Польше, марксизм-ленинизм уже мертв в качестве мобилизующей идеологии: уже невозможно побудить людей совершать трудовые подвиги под его знаменами, его сторонники уже утратили веру в свои возможности. Напротив, советские ультра-националисты, подобно пропагандистам традиционного марксизма-ленинизма, ревностно верят в свое славянофильское дело, и можно предположить, что в России фашистская альтернатива еще не полностью исчерпала свои возможности.

Таким образом, Советский Союз сейчас находится на историческом перепутье. Он может вступить на путь, начатый Западной Европой сорок пять лет назад, по которому с тех пор последовало и большинство стран Азии, но может уверовать в собственную исключительность и остаться в историческом прошлом. Для нас его выбор чрезвычайно важен, что вполне понятно, принимая во внимание размеры и военную мощь этой державы; она своим существованием будет занимать наши мысли, замедляя осознание того, что мы сами уже вынырнули на другой стороне истории.

V

Отход сперва Китая, а затем и Советского Союза от марксизма-ленинизма будет означать кончину идеологии, влияющей

на развитие мировых событий. Хотя у нее еще останутся убежденные сторонники, разбросанные в таких местах как Манагуа и Пхеньян или Кембридж в штате Массачусетс, тот факт, что ей не придают значения ни в одной большой стране, полностью подрывает ее претензии на авангардную роль в человеческой истории. Смерть этой идеологии приведет к ускорению перестройки международных отношений по модели связей между странами Общего рынка, что сведет на нет вероятность какого-либо крупномасштабного конфликта между государствами.

Это не означает конца международных конфликтов как таковых. Мир все равно будет разделен на историческую и постисторическую части, так что конфликты между странами, уже вышедшими и еще не вышедшими из исторической фазы, возможны, сохранятся и, возможно, даже усилятся этнические и националистические беспорядки, поскольку даже в некоторых частях постисторического мира эти импульсы еще не полностью потеряли силу. Свои неудовлетворенные претензии будут предъявлять палестинцы и курды, сикхи и тамилы, ирландские католики и валлонцы, армяне и азербайджанцы. Это значит, что среди международных проблем по-прежнему сохранятся терроризм и национально-освободительные войны. Однако для возникновения крупномасштабных конфликтов в них должны участвовать большие государства, еще не освободившиеся от объятий истории, а таковых, судя по всему, остается все меньше и меньше.

Конец истории ознаменует собой очень скучное время. Борьба за признание, желание рискнуть своей жизнью ради какой-то чисто абстрактной цели, всемирная идеологическая конфронтация, вызывающая к жизни отвагу, смелость, воображение и идеализм, будут заменены экономическими расчетами, бесконечным решением технических проблем, экологическими соображениями и удовлетворением многообразных и усложненных потребительских требований. В постисторический период не будет ни искусств, ни философии — останется лишь постоянный уход за музеем человеческой истории. И я сам, и мое окружение испытываем ностальгию по тем временам, когда история еще существовала. На деле эта ностальгия будет и впредь подогревать конкуренцию и конфликты в постисторическом мире. Сознвая

неизбежность его пришествия, я испытываю очень противоречивые чувства по отношению к той цивилизации, которая родилась в Европе после 1945 г. и затем распространилась в Северной Атлантике и в Азии. Возможно, сама перспектива долгих и скучных столетий конца истории послужит тому, что история начнется заново.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Самая известная работа Кожева – его „Introduction a la lecture de Hegel,, (Paris: Editions Gallimar, 1947). Это сборник его лекций, прочитанных в 1930-е годы. Английский перевод этой книги, вышедшей по инициативе Раймона Кенэ, выполнен Джеймсом Никольсом и отредактирован Алланом Блумом. (Alexandre Kojève. Introduction to the Reading of Hegel, New York, Basic Books, 1969).
2. В этом отношении Кожев представляет резкую противоположность современным интерпретаторам Гегеля, которые, подобно Герберту Маркузе, испытывают куда больше симпатии к Марксу, чем к Гегелю, считая его исторически ограниченным мыслителем без целостной концепции.
3. Кожев определял конец истории и в другой форме, отождествляя его с послевоенным распространением „американского образа жизни“, к принятию которого, по его мнению, движется и Советский Союз.
4. Эта концепция выражена в знаменитом афоризме Гегеля из предисловия к „Философии истории“, что „все действительное разумно, а все разумное действительно“.
5. В самом деле, для Гегеля само разграничение реального и материального миров было лишь кажущимся и подлежащим итоговому преодолению мыслящим субъектом – ведь в его системе весь материальный мир выступает лишь в качестве одного из аспектов разума.
6. В действительности, современные экономисты, понимающие, что мотивацией человека не всегда является увеличение прибыли, вводят

специфическую „функцию полезности“, под которой подразумеваются, кроме дохода, и какие-то иные блага, допускающие максимизацию: свободное время; сексуальное удовлетворение или удовольствие от философских размышлений. Прибыль при этом заменяется какой-то иной ценностью, что само по себе демонстрирует убедительность идеалистической перспективы.

7 Абсолютно решающая роль культуры и сознания в объяснении не только экономического поведения, но практически и любого существенного аспекта жизни, очевидна из сравнения школьных успехов недавних эмигрантов в Америку из Вьетнама с результатами их же чернокожих или латиноамериканских одноклассников.

8 Разумеется, суть реформистских движений в Китае и России гораздо сложнее, нежели предложенная здесь простая формула. Например, советская реформа в значительной мере была мотивирована растущим в Москве сознанием потери безопасности в военно-технологической сфере. Тем не менее, эти страны не испытали накануне реформ такого материального кризиса, который однозначно указывал бы на необходимость реформаторства.

9 Все еще не ясно, является ли советское население столь же „протестантским“, как Горбачев, и будет ли оно следовать за ним по этому пути.

10 Во времена Юстиниана внутренняя политика византийской империи вращалась вокруг конфликта между так называемыми монофиситами, верившими в единство святой троицы по природе, и монофелитами, считавшими это единство результатом свободной воли. До некоторой степени этот конфликт соответствовал противоборству между болельщиками на скачках на константинопольском ипподроме и привел к немалой политической жесточести. Историки новейшего времени склонны видеть корни подобных столкновений в классовых антагонизмах или в иных современных экономических категориях, не желая поверить, что в прошлом люди могли убивать себе подобных из-за расхождений относительно природы троицы.

11 Я употребляю слово „фашизм“ в его наиболее точном смысле, хотя хорошо знаю, что нередко его используют не по назначению,

лишь с целью заклеймить стоящих на более правых позициях. Здесь слово „фашизм“ означает любое организованное ультранационалистическое движение с универалистскими претензиями, — конечно не по отношению к его собственному национализму. При этом национализм собственной нации рассматривается как явление исключительное просто по определению. Что и дает сторонникам движения уверенность в их праве господствовать над другими народами. В этом смысле императорская Япония заслуживает титула фашистского государства, а Парагвай Стресснера или Чили Пиночета — нет. Фашистские идеологии очевидным образом не могут быть универсальными, как марксизм и либерализм, но структурное ядро фашистской доктрины может передаваться из страны в страну.

12 Пример Японии я использую с некоторой осторожностью, поскольку сам Кожев к концу жизни пришел к заключению, что Япония со своей основывающейся на чисто формальных искусствах культуре доказывает, что универсальное однородное государство не может торжествовать победу и что история еще, возможно, не закончена. См. об этом пространное примечание во втором издании его „Введения...“ на стр. 462–463.

13 Это, однако, уже не справедливо относительно Польши и Венгрии, где коммунистические партии сами предприняли шаги к подлинному разделению власти и плюрализму. (Позднее также поступили и компартии других стран Восточной Европы. — Ред.)

14 Это в особенности относится к главному советскому консерватору, бывшему второму секретарю ЦК КПСС Егору Лигачеву, который публично признал многие серьезные недостатки брежневского периода.

15 Прежде всего приходят на ум Руссо и вышедшая из его трудов философская традиция, крайне критичная по отношению к либерализму Гоббса и Локка, хотя либерализм можно критиковать и с позиций классической политической философии.

16 См. его статью “Beyond the Cold War” (“New Republic”, December 19, 1988).

17 Европейским колониальным державам, например, Франции, понадобилось несколько лет после окончания войны, чтобы признать незаконность своих империй. Однако деколонизация была неизбежным следствием победы союзных держав, основанной на защите демократических свобод.

18 „Вестник министерства иностранных дел СССР” № 15 (август 1988 г.), стр. 34. Конечно, „новое мышление” выполняет и пропагандистскую функцию убеждения общественного мнения Запада в добрых намерениях СССР. Однако то обстоятельство, что это – умелая пропаганда, не означает, что ее авторы не принимают многие ее идеи всерьез.